

Декабрь 1875
и январь 1876 года

В 1846-м году, когда я познакомился с Белинским и с группой окружающих его литераторов и приятелей, между ними не было налицо троицы И. С. Тургенева, В. П. Боткина и П. В. Анненкова. Последние двое были за границей, а Тургенев, кажется, в деревне.

О них часто говорилось в кругу Белинского, в котором толпились: И. И. Панаев, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский (появившийся с повестью «Бедные люди»), позже явился А. В. Дружинин с романом «Полянка Сакс». Кроме того, было тут несколько приятелей не литераторов: Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков и некоторые другие.

С Панаевым и Языковым я познакомился прежде у Н. А. Майкова (отца поэта). Через последнего, то есть через Языкова, я и передал Белинскому свой роман «Обыкновенная история», для прочтения и решения, годится ли он и продолжать ли мне вторую часть? Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845, и в 1846 году мне оставалось дописать несколько глав. Белинский, месяца три по прочтении, при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что задолго до печати о романе знали все — не только в литературных петербургских и московских кружках, но и в публике.

Собирались мы чаще всего у И. И. Панаева и у Языкова, у Тютчева — иногда все, гурьбой, что позволяли их просторные квартиры. Белинского посещали почти каждый день, но не собирались толпой, вдруг. У него было тесно.

Летом в 1846 году все разъехались — Белинский уехал, кажется, в Крым, Панаев с Некрасовым в Казань, а к осени собрались все в Петербург. Тогда этот кружок оставил Краевского и «Отечественные записки» и целиком перешел в «Современник» (с Белинским во главе), предприимчивый Панаевым и Некрасовым, которые и поселились в одном доме.

В 1848 году, и даже раньше, с 1847-го года у меня родился план «Обломова». Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу, или накидывая легкий очерк сцены, записывая какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице ткнулся скатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накопились кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть. Но в 1848 (1849, — В. Н.) году, в «Иллюстрированном альманахе» при «Современнике», я уже поместил отрывок «Сон Обломова» и тогда же, по дурному своему обыкновению, вслабому встречному и поперечному рассказывал, что замыслил, что пишу, и читал сплошь и рядом, кто ко мне придет, то, что уже написано, дополняя тем, что следует далее.

Это делалось оттого, что просто не вмещалось во мне, не удерживалось богатство содержания, а еще более оттого, что я был крайне недоверчив к себе. «Не вздор ли я пишу? годится ли это? Не дичь ли?» — беспрестанно я мучал себя вопросами.

Я с ужасным волнением передал и Белинскому на суд «Обыкновенную историю».

не зная сам, что о ней думать!

(...) Тургеневу, конечно, я чаще и подробнее излагал и общий план и частности «Обломова», как очень тонкому критику, охотнее всех прислушивающемуся к моим рассказам. Сам он писал тогда свои знаменитые «Записки охотника», одну записку за другой, наполняя ими «Современник», так что еще Белинский уже поговаривал: «довольно бы; что-нибудь другое!» — не ему лично, но другим, в том числе и мне. Но эти «Записки» читались с увлечением и справедливо приобрели автору громкое имя! Ни у кого так художественно... не изображалось крепостное право и его уродливости — и почти нигде русская деревенская жизнь и русская сельская природа не рисовались такою нежно, бархатною кистью! Тургенев навсегда останется в литературе, как необычайный миниатюрист-художник! «Бежин луг», «Певцы», «Хорь и Калиныч», «Касьян» и много, много других миниатюр, как будто не нарисованы, а изваяны в неподражаемых, тонких барельефах!

(...) В 1849 году я уехал на Волгу, в Симбирек, на родину — и там в течение четырех летних месяцев у меня родился и развился в обширную программу план нового романа, именно «Обрыв». Он долго известен был в кругу нашем под именем «Художника» т. е. «Райского». Я продолжал обрабатывать в голове «Обломова» и также «Обрыв», набрасывая по обыкновению, кучу листков, клочков с заметками, очерками лиц, событий, картин, сцен и проч.

В Петербурге я и служил, и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы обоих романов до 1852 года. В этом году, в октябре, я ушел на фрегате «Паллада» вокруг света. На море, кроме обязанностей секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и историк четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками, вышедшими потом в двух томах под названием «Фрегат Паллада».

Обе программы романов были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда. Я весь был поглощен этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями. В начале 1855-го года, именно в феврале, я вернулся через Сибирь в Петербург.

Там я застал весь литературный кружок в сборе: Тургенев, Анненков, Боткин, Некрасов, Панаев, Григорович. Кажется, тогда уже явился и граф Лев Ник. Толстой, сразу обративший на себя внимание военными рассказами.

Если не ошибаюсь, тогда же был в Петербурге и другой граф, Алексей Конст. Толстой (впоследствии автор «Смерти Иоанна Грозного»). Я познакомился с обоими не помню у кого: кажется, у князя Одоевского, или у Тургенева. Граф А. Толстой потом уехал, а Лев Николаевич (не помню хорошенько, тогда ли граф Лев Т., или позже, был в Петербурге) оставался тут и сходилась с нами почти ежедневно — опять все у тех же лиц — Тургенева, Панаева и проч.

Говорили много, спорили о литературе, обидели шумно, весело — словом, было хорошо. Тогда и цензура стала легче. В 1856 году мне предложено было место цензора — и я должен был его принять. Я издавал тогда свои путевые записки, и это отвлекло меня от главных моих литературных трудов — «Обломова» и «Райского».

(...) Вместо нигилиста Во-



И. А. ГОНЧАРОВ

«ПИСАТЬ БЫЛО

В 1924 году в «Сборнике Российской Публичной библиотеки» спустя полвека после написания увидела свет «Необыкновенная история» И. А. Гончарова. Малотиражный «Сборник...» давно стал библиографической редкостью. Между тем «истинные события», о которых с присущим ему талантом наблюдателя и психолога повествовал в своих записках, созданных в 1875—1878 годах, Гончаров, полны живого интереса не только для историка, но и для каждого почитателя русской классики.

По своему жанру записки Гончарова — очерковые литературные мемуары. Выразительность портретов и проницательность характеристик, документальная ценность выдвигают воспоминания Гончарова на почетное место среди однородных произведений И. Панаева, А. Панаевой, А. Григоровича, П. Анненкова, Д. Григоровича, И. Тургенева. Записки вводят читателя в творческую лабораторию Гончарова, знакомят с литературно-эстетическими вкусами, общественными и художественными симпатиями и антипатиями автора.

Воспоминания охватывают тридцать лет литературной и общественной жизни России. На первом плане у Гончарова мемуариста, правда, скорее литературный быт и нравы, чем общая идейно-эстетическая характеристика времени. Но устойчивый интерес писателя к быту отнюдь не заслонил от него тот дух «неумолимого анализа», идейной «жаркой схватки», что стали знаменем предреформенной и пореформенной эпохи. Гончаров повествует о нем в своеобразных «лирических отступлениях». Его характеристичны всеобщего кризиса, охватившего русское общество, порой дословно совпадают с известными словами Л. Толстого в «Анне Карениной» о переротившейся и только начинающей укладываться в новый порядок России.

В галерее портретов, набросанных в «истории» то карандашом, то кистью, особенно заметны две фигуры — В. Белинского и Л. Толстого. Проникнутые особой симпатией и теплотой, они как бы замыкают весь рассказ. Гончаров видел в Белинском и Л. Толстом истинных духовных вождей своего времени. Глубоное уважение вызывает у мемуариста их нравственный облик.

Неизменно благожелателен Гончаров к А. Островскому, А. Толстому-драматургу, А. Писемскому. Все они в его глазах последователи и продолжатели пушкинского-гоголевского «реального направления», к которому он принадлежит и сам. Различия в идейных и творческих принципах не мешают ему отдать должное дарованиям М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского.

В И. Тургеневе он ценит выдающегося мастера малой формы, автора «Записок охотника», признает его приоритет в изображении «нового героя» — разночинца Базарова.

Особую ценность и вместе с тем задушевность придают воспоминаниям их исповедальные фрагменты, где художник обнажает свою страстную и раннимую душу. Мы слышим Гончарова — патриота и гуманиста, неизбежно верующего в человека. Запечатлена здесь и драма большого художника, принужденного всю жизнь отстаивать свою творческую независимость.

«Необыкновенная история» Гончарова — неотъемлемая и колоритная глава в истории русской литературы. В более полном виде она будет опубликована в 7-м томе собрания сочинений И. А. Гончарова, который скоро выйдет в свет в издательстве «Художественная литература». Сегодня мы предлагаем читателям «Литературной России» ее сокращенный вариант — «Писать было моей страстью»...

В. НЕДЗВЕЦКИЙ

лохова, каким он вышел в печати, у меня тогда был начен в романе сосланный под надзор полиции, по неблагонадежности, вольнодумец. Но такого резкого типа, каким вышел Волохов, не было, потому что в 40-х годах нигилизм еще не проявился вполне. А посылали по губерниям часто заподозренных в вольнодумстве лиц.

Но как я тянул, писал долго, то и роман мой видоизменялся, сообразно времени и

но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходясь и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне. Более всего я во многом симпатизировал с Белинским: прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художественным произведениям, на-

стоятельствам. Я был вторично в 1862 году на Волге — и тогда Волоховы явились повсеместно уже такими, каким он изображен в романе. Потом, по первоначальному плану, Вера, увлекшись Волоховым, уехала с ним в Сибирь, а Райский бросил родину и отправился за границу и через несколько лет, воротясь, нашел новое поколение и картину счастливой жизни. Дети Марфиньки и проч.

(...) В 1857 году я поехал за границу, в Марнброд, и там взял курс вод и написал в течение семи недель почти все три последние тома «Обломова», кроме трех или четырех глав. (Первая часть была у меня написана прежде.) В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день, что противоречило правилам лечения, но я этим не стеснялся.

С какою радостью поехал я со своею рукописью в Париж, где знал, что найду Тургенева, В. П. Боткина, и нашел еще Фета, который там женился на сестре Боткина.

Я читал им то или другое место, ту или другую главу из одной, из другой, из третьей части — и был счастлив, что кончил.

Тургенев как-то кисло отозвался на мое чтение. «Да, хоть и вечерне, а здание кончено, стоит!» — сказал он почти уныло, чем несколько удивил меня. Я принял это слабости моего пера. Весь 1858 год я посвятил отделке, а в 1859 году (кажется, я не ошибаюсь в годах) я напечатал его в «Отечественных записках», в 4-х книжках, янв., февр., март, и апрельской. Успех превзошел мои ожидания. И Тургенев однажды заметил мне кратко: «пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова». В другой раз, когда я читал ему последние, написанные уже в Петербурге главы, он быстро встал (в одном месте чтения) с дивана и ушел к себе в спальню. «Вот я уж старый воробей, а вы тронули меня до слез», — сказал он, утирая слезы.

(...) Однажды осенью, кажется, в тот же год, как я готовился печатать «Обломова», Тургенев приехал из деревни, или из-за границы — не помню, и привез новую повесть: «Дворянское гнездо», для «Современника». Он нанял квартиру в Большой Конюшенной, в доме Вебера, на дворе.

(...) Все знают «Дворянское гнездо»: теперь оно, конечно, по времени полюбедло, но тогда произвело большой эффект... «Дворянское гнездо» наконец вышло в свет и сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал.

(...) Я вел себя совершенно противоположно: я литературно сливался с кружком,

конец, с честностью и строгостью его характера... Я, повторяю, не сблизился сердечно со всем кружком, для чего нужно было измениться вполне, отдать многое, все, чего я не мог отдать. Мне было уже 35 или 36 лет — и потому я, разившись много в эстетическом отношении в этом кругу, остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания. Я ходил по вечерам к тому или другому, но жил уединенно, был счастлив оказанным мне, и там, и в публике, приемом, но чуждался (между прочим, по природной тесноте своего характера) тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Мих. Языкова, где меня любили, как родного, и я платил тем же.

Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом. Во всех сношениях членов кружка было много товарищества, это правда, размена идей, обработки понятий и вкуса. Но тут же, пристальное изучение друг друга — много и отравляло искренность сношений и вредило дружбе. Все почти смотрели врозь, и если были тут друзья, то никак не друзья по литературе.

Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому что все платили ему, без условного уважения. А другие, например, Панаев с Боткиным, были дружны совсем не ради литературы, а они любили «шалить», волочиться вместе — и это сблизало их друг с другом, как и Дружинина с Григоровичем.

Я мог привязаться к Белинскому, кроме его сочувствия к моему таланту, за его искренность и простоту. Но я не мог поручиться, что это осталось бы за мной надолго, по его впечатлительности.

(...) С 1867 на 1868 год здесь (в Петербурге. — В. Н.) провели зиму граф Алексей Константинович Толстой (автор драм «Грозного и других») с женою. Его все любили за ум, за талант, но всего более за его добрый, открытый, честный и всегда веселый характер. Все льнули к нему, как мухи; в доме у них постоянно была толпа — и так как граф был ровен и одинаково любезен и радущен со всеми, то у него собирались люди всех состояний, званий, умов, талантов, между прочим, beau monde, где у него были и родство, и дружба. Графиня, тонкая и умная, развитая женщина, образованная, все читающая на четырех языках, понимающая и любящая искусства, литературу — словом, одна из немногих, по образованию, женщин. Она была некоторым образом судьбою, критиком сочинений своего мужа, и он не скрывал, что дорожил ее оценкой. Мы сблизились с ним еще прежде, в Карлсбаде, а тут виделись каждый